



Великие шестидесятники: Окуджаву, Вознесенский, Рождественский, Евтушенко

веч. клуб. - 1998. - 7 мая. - с. 7

"ЗАХОДИ — У МЕНЯ ЕСТЬ ДЖОНДЖОЛИ"

Даже при плохой слышимости по телефону мне не нужно было догадываться, кто мог произнести это магическое слово, бывшее сорок лет тому назад кодом нашей дружбы.

Джонджоли — это грузинская трава с крошечными бубенчиками на тонких стеблях, которую маринуют в стеклянных банках, где она становится похожа на водоросли цвета хаки. Вкус у нее горьковато-кислый, и нет лучше закуски под белое сухое вино, чем джонджоли с малосольным сулгуни.

Когда-то в мои юношеские годы эту траву еще подавали в "Арагии", но потом она исчезла, и, может быть, единственным человеком в Москве, у которого водилось присылаемое ему грузинскими родственниками джонджоли, был Булат Окуджаву, всегда приглашавший меня на этот, понятный очень немногим, маленький пир. У нас было о чем вспомнить за джонджоли.

Шестидесятые годы были годами взаимосоздания поэтов и читателей. Мы заново создавали читателей поэзии, высказывая вслух то, что думали они, а они создавали нас своей поддержкой, хотя порой она им дорого стоила. За распространение пленок с песнями Окуджавы или моей самоиздатовской "Автобиографии" исключали из комсомола, из университета, увольняли с работы, налагали взыскания в армии. Мы были первыми доддисидентскими диссидентами в то время, когда Сахаров был привилегированным засекреченным специалистом, Солженицын — никому не известным учителем, бывшим эком, а Бродский — школьником. Общественная сцена была пуста, за исключением замаячивших на ней нескольких худеньких фигурок поэтов нашего поколения. Мы, наверное, не меньше чем раз сто выступали вместе с Булатом. Окуджаву называли "попляком с гитарой", меня — "певцом грязных простыней". Вот как высказывался о нашем поколении первый секретарь ЦК ВЛКСМ С. Павлов: "Во всяком полуволье есть пена. Она присутствовала и в молодой литературе. Особенно в творчестве Евтушенко, Вознесенского, Окуджавы... Как метко сказал Л. Соболев, "на переднем крае такие устанавливают вместо пулеметного гнезда ресторанный столик для кокетливой беседы за стаканом коктейля". Другой секретарь ЦК ВЛКСМ — интеллигентный красавец Лен Карпинский — будущий номенклатурный диссидент — признаваясь, что он сам любит послушать песни Окуджавы, тем не менее считал, что они опасны для "неподготовленной" молодежи. Но чем больше нападок было в адрес Булата, тем больше было и слушателей. Сначала — из любопытства, а потом уже — из любви.

"Говорят, что это — мода. Но если мода не проходит столько лет, может быть, это любовь?" — писал Слуцкий. Многие из нас были идеалистами, впоследствии обманутыми историей. Это трагично, но, по моему, все-таки лучше, чем изначально быть беспросветным циником и не иметь за душой никакой надежды — даже разбитой. Сегодняшней Белле Ахмадулиной вряд ли хочется, чтобы кто-нибудь помнил ее как романтическую комсомолочку — старосту курса, но таковой она была. Я до сих пор люблю раннюю песню Булата о комсомольской богине. Но даже эта романтическая чистота вызвала раздражение у давным-давно насквозь проциниченной номенклатуры, благословлявшей романтику лишь в целинно-новостроечном, пахмутовско-кобзовском варианте. В 1962 году Булат, Роберт, я и Станислав Куняев собирались ехать с женами в туристскую поездку в Швецию, но нас вызвал оргсекретарь Московской писательской организации — бывший генерал КГБ Ильин и сообщил, что Булата где-то "наверху" вы-

черкнули" из списка. Мы единодушно, и в том числе Куняев, заявили, что без Булата никуда не поедем. Только в результате нашего прямого шантажа возможным скандалом Булата первый раз выпустили за границу. Но вот что поразительно — он держал себя там с таким спокойным достоинством и с таким сдержанным ироничным любопытством, что порой казалось — это мы за границей первый раз, а он там — частый, слегка скучающий гость. Все это выпускательство-невыпускательство за границу, цензурное унижительное надзирательство, диссидентские процессы, наконец, вторжение бржевских танков в Чехословакию разрушало наш романтизм. Будучи в Кишиневе на выступлении, Булат резко высказался против оккупации Праги. На него немедленно донесли, отменили концерты, опять закрыли перед ним границу. Песни Окуджавы, поначалу такие озорные, становились все горше, все жестче. Окуджаву был первый в нашей стране поэт, взявший в руки гитару, но его гитара была беременна будущими песнями Галича, Высоцкого и многих других "бардов", при несвободе печати все-таки отвоєвавших право на "магнитофонную гласность". Гражданский протест, не меньший, чем в громовых раскатах Тринадцатой симфонии Шостаковича, звучал и в гитарных аккордах. Это не могло не вызвать номенклатурной отместки.

Секретарь писательского парткома публицист Сергей Сергеевич Смирнов был человек двойкий, и, наверно, от этой двойкости у него постоянно дергалось лицо, на котором затравленно прыгали глаза, убегающие от прямого взгляда. Он выручил многих несправедливо брошенных в лагеря героев Брестской крепости и в то же время был председателем собрания, исключившего Пастернака из Союза писателей. В Сергее Сергеевиче продолжалась внутренняя борьба выручителя и исключателя. Он вызвал Булата на партком и, конвульсируя лицевыми мускулами, ткнул ему его "Избранное", изданное "Посевом". В предисловии было написано, что, хотя Окуджаву формально и является членом партии, тем не менее все его творчество насквозь антикоммунистическое. Смирнов потребовал от Булата немедленного опровержения. Такие "опровержения", по сути являющиеся унижительными заявлениями в лояльности, тогда буквально "выжимали" из писателей. Булат с присущим ему спокойным достоинством отказался, говоря, что не имеет никакого отношения к этому изданию. Тогда его исключили из партии. Исключатель опять победил в Смирнове выручителя. Решение парткома направили на утверждение в Краснопресненский райком. Узнав об этой истории, я просчитал ситуацию — в случае, если бы

Булат исключил, его автоматически перестали бы печатать, запретили бы все выступления и выход остался бы один — эмиграция.

18 июля 1973 года, в день своего сорокалетия, я устроил пир горой в Переделькино. Среди приглашенных были Константин Симонов и космонавт Виталий Севастьянов. Я поднял тост за отсутствовавшего Окуджаву и попросил Константина Михайловича, который всегда охотно помогал многим людям в беде, в том числе и мне, защитить Булата. И вдруг, совершенно неожиданно для меня, сталинский чиновник победил внутри Симонова автора "Жида меня" и в общем доброжелательного человека. Один из моих любимых поэтов Великой Отечественной, вдруг став похожим на заурядного бюрократа, сухо и недвусмысленно сказал:

— Но он же член партии, Женя... А член партии обязан выполнять решение первичной организации. Это меня потрясло, потому что образ одного из поэтических героев моего детства рассыпался. А тут еще Севастьянов поддакнул... Я собрался со всеми силами и, встав, сказал, что не могу позволить, чтобы на моем дне рождения кто-то мог задеть хоть словом моего отсутствующего друга. Симонов и Севастьянов вынуждены были уйти.

На следующий день, хотя я никогда не был членом партии, я немедленно написал письмо в защиту Окуджавы члену Политбюро, первому секретарю МК В. Гришину с просьбой меня принять.

Мне позвонил его тогдашний первый помощник Изюмов. "Советую вам взять это письмо, Евгений Александрович... Вопрос с Окуджавой уже практически решенный, и вы ему не поможете, а только настроите Виктора Васильевича против себя лично". Я, однако, настаивал на своем. Гришин принял меня мрачно, но уважительно. Почему-то сначала, как ревизору, доложил мне экономическую обстановку в Москве, рассказал о трудностях перехода молочного производства со стеклянной тары на пакетную.

— Мы и так, и так с этими пакетами, Евгений Александрович, а они все текут и текут... Углы их слабое место, углы... Но мы эти углы в конце концов зажали...

Потом он громко всморкнулся — он именно не высмаркивался, а всмаркивался, то есть втягивал содержимое носа внутрь, куда-то, видимо, в лобные пазухи его испещренного государственными заботами лба, и заключил:

— Теперь насчет этого... как его... Окуджавова... Спасибо за своевременный сигнал, Евгений Александрович... Вы правильно заметили в вашем письме: "До коей поры московская партийная организация будет руководиться, сама того не понимая, из Мюнхена?" Действительно, до коей поры?! Так что я уже поговорил с Краснопресненским райкомом — выговором обойдемся... А то ваши писатели все время норовят вперед партии забежать, чтобы потом на партию все свалить. Этого мы им не позволим. Так вы скажите этому Окуджавову...

Когда я приехал к Булату и рассказал ему в лицах мой разговор с Гришиным, он немножко посмеялся, а потом сурово сказал: — Ну ладно... Конечно, тебе спасибо за хлопоты. Но ведь я тебя не просил... Может быть, лучше было бы, если меня бы исключили... Я уже давно себя сам исключил из их партии...

Такой был Булат. Никогда он не мог принять мою "Казнь Степана Разина".

— Какого черта ты его прославляешь? Ведь разбойник, убийца... А за что князю утопил?

Но он умел быть и трогательно нежным. В позапрошлом году, невзирая на то, что он из больницы, он неожиданно для меня пришел с Олей на мой традиционный день рождения 18 июля в Политехнический, и для меня это был самый лучший подарок. Потом раздался его звонок: "Заходи, у меня есть джонджоли..." Он пил, как всегда, чуть-чуть, а на этот раз совсем чуть-чуть, но, несмотря на то, что был явно слаб, долго не позволял нам подниматься и уйти, расспрашивал о нашей жизни, шутил, хотя его глаза улыбались уже через силу. Когда мы вышли, я сказал Маше:

— По-моему, Булат попросался с нами...

Так оно и случилось...

Но как больно, что я уже никогда больше не услышу по телефону: "Заходи — у меня есть джонджоли".

Евгений ЕВТУШЕНКО.

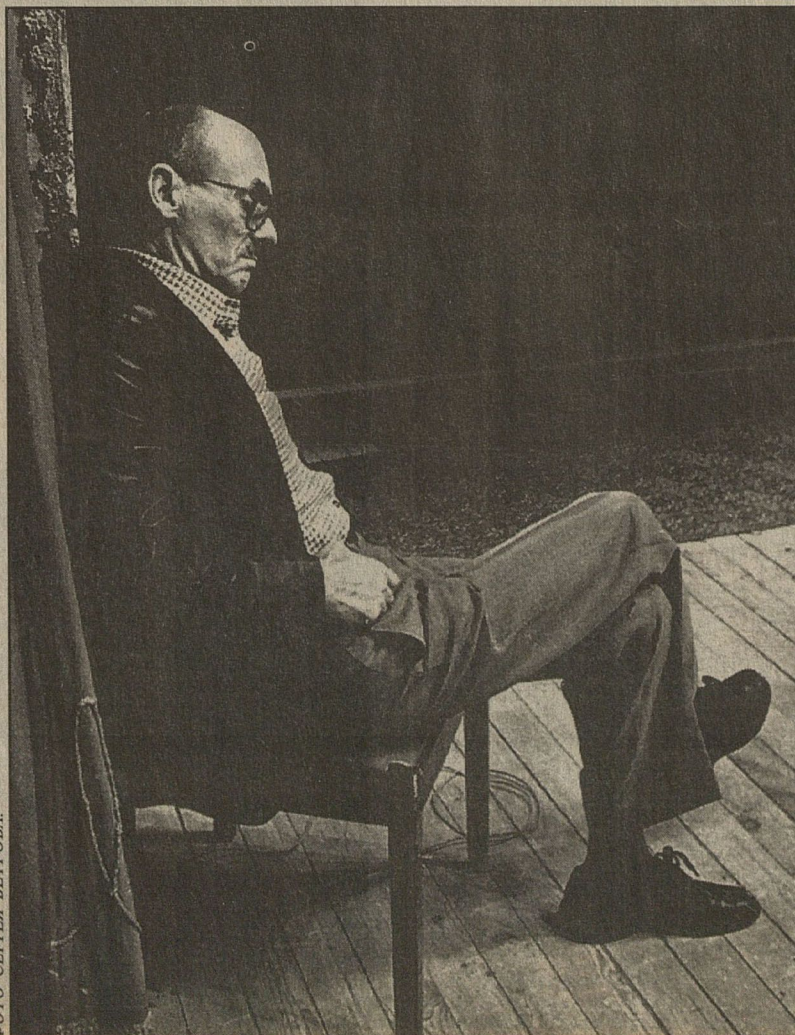


ФОТО СЕРГЕЯ ВЕТРОВА

Окуджаву

Булат

07.05.98